

## Абрамов Федор

### Деревянные кони

О приезде старой Милентьевны, матери Максима, в доме поговаривали уже не первый день. И не только поговаривали, но и готовились к нему. Сам Максим, например, довольно равнодушный к своему хозяйству, как большинство бездетных мужчин, в последний выходной не разгибал спины: перебрал каменку в бане, поправил изгородь вокруг дома, разделал на чурки с весны лежавшие под окошками еловые кряжи и наконец, совсем уже в потемках, накидал досок возле крыльца — чтобы по утрам не плавать матери в росяной траве.

Еще больше усердствовала жена Максима — Евгения.

Она все перемыла, перескоблила-в избах, в сенях, на вышке, разостлала нарядные пестрые половики, до блеска начистила старинный медный рукомоЙник и таз.

В общем, никакого секрета в том, что в доме вот-вот появится новый человек, для меня не было. И все-таки приезд старухи был для меня как снег на голову.

В то время, когда лодка с Милснтьевчой и ее младшим сыном Иваном, у которого она жила, подошла к деревенскому берегу, я ставил сетку га другой стороне.

Было уже темновато, туман застилал деревенский берег, и я не столько глазом, сколько ухом угадывал, что там происходит.

Встреча была шумной.

Первой, конечно, прибежала к реке Жука-маленькая соседская собачонка с необыкновенно звонким голосом, — она на рев каждого мотора выбегает, потом, как колокол, загремело и заухало знакомое мне железное кольцоэто уже Максим, трахнув воротами, выбежал из своего дома, потом я услышал тонкий плаксивый голос Евгении:

«О, о! Кто к нам приехал-то!..», потом еще, еще голоса бабы Мары, старика Степана, Прохора. В общем, похоже было, чуть ли не вся Пижма встречала

Милентьевну, и, кажется, только я один в эти минуты клял приезд старухи. Мне давно уже, сколько лет, хотелось найти такой уголок, где бы все было под рукой: и охота, и рыбалка, и грибы, и ягоды. И чтобы непременно была заповедная тишина — без этих принудительных уличных радиодинамиков, которые в редкой деревне сейчас не гремят с раннего утра до поздней ночи, без этого железного грохота машин, который мне осточертел и в городе.

В Пижме я нашел все это с избытком.

Деревушечка в семь домов, на большой реке, и кругом леса — глухие ельники с боровой дичью, веселые грибные сосняки. Ходи — не ленись.

Правда, с погодой мне не повезло — редкий день не выпадали дожди. Но я не унывал. У меня нашлось еще одно занятие — хозяйский дом.

Ах, какой это был дом! Одних только жилых помещений в нем было четыре: изба-зимовка, изба-лестница, вышка с резным балкончиком, горница боковая. А кроме них были еще сени светлые с лестницей на крыльцо, да клеть, да поветь саженой семь в длину — на нее, бывало, заезжали на паре, — да внизу, под поветью, двор с разными станками и хлевами.

И вот, когда не было дома хозяев (а днем они всегда на работе), для меня не было большей радости, чем бродить по этому удивительному дому. Да бродить босиком, не спеша. Вразвалку. Чтобы не только сердцем и разумом, подошвами ног почувствовать прошлые времена.

Теперь, с приездом старухи, на этих разгулах по дому надо поставить крест — это было мне ясно. И на моих музейных занятиях — так я называл собирание старой крестьянской утвари и посуды, разбросанной по всему дому, — тоже придется поставить крест. Разве смогу я втащить в избу какой-нибудь пропылившийся берестяной туес и так и этак разглядывать его под носом у старой хозяйки? Ну, а о всяких там других привычках и удовольствиях, вроде того чтобы среди дня завалиться на кровать и засмолить папиросу, об этом и думать нечего.

Я долго сидел в лодке, приткнутой к берегу.

Уже туман наглухо заткал реку, так что огонь, зажженный на той стороне, в

доме хозяев, был похож на мутное желтое пятно, уже звезды высыпали на небе (да, все вдруг — и туман, и звезды), а я все сидел и сидел и распалял себя.

Меня звали. Звал Максим, звала Евгения, а я закусил удила и — ни слова. У меня даже одно время появилась мыслишка укатить на ночлег в Русиху — большую деревню, километра за четыре, за три вниз по реке, да я побоялся заблудиться в тумане.

И вот я сидел, как сыч, в лодке и ждал. Ждал, когда на той стороне погаснет огонь. С тем, чтобы хоть ненадолго, до завтра, до утра, отложить встречу со старухой.

Не знал сколько продолжалось мое сиденье в лодке.

Может быть, два часа, может быть — три, а может, и четыре. Во всяком случае, по моим расчетам, за это время можно было и поужинать, и выпить уже не один раз, а между тем на той с троне и не думали гасить огонь, н желтое пятно все так же маячило в тумане.

Мне хотелось есть — давеча, придя из лесу, я так спешил на рыбалку, что даже не пообедал, меня колотила дрожь — от сырости, от ночного холода, и в конце концов — не пропадать же — я взялся за весло.

Огонь на той стороне сослужил мне неоценимую службу. Ориентируясь на него, я довольно легко, не блуждая в тумане, переехал за реку, затем так же легко по тропинке, мимо старой бани, огородом поднялся к дому.

В доме, к моему немалому удивлению, было тихо, и, если бы не яркий огонь в окошке, можно было бы подумать, что там уже все спят.

Я постоял-постоял под окошками, прислушиваясь, и решил, не заходя в избу, подняться к себе на вышку.

Но зайти в избу все-таки пришлось. Потому что, отворяя ворота, я так брякнул железным кольцом, что весь дом задрожал от звона.

— Сыскался? — услышал я голос с печи. — Ну, слава богу. А я лежу и все думаю, хоть бы ладно-то все было.

— Да чего неладно-то! — с раздражением сказала Евгения. Она тоже,

оказывается, не спала. — Это вот для тебя светильню-то выставила, — кивнула Евгения на лампу, стоявшую на подоконнике за спинкой широкой никелированной кровати. — Чтобы, — говорит, — постоялец в тумане не заблудился. Ребенок постоялец-то! Сам-то уж не сообразит, что к чему. — Да нет, всяко бывает, — опять отозвалась с печи старуха. — Кой год у меня хозяин всю ночь проплавал по реке, едва к берегу прибился. Такой же вот туман был.

Евгения, охая и морщась, начала слезать с кровати, чтобы покормить меня, но до еды ли мне было в эти минуты! Кажется, никогда в жизни мне не было так стыдно за себя, за свою безрассудную вспыльчивость, и я, так и не посмеяв поднять глаза кверху, туда, где на печи лежала старуха, вышел из избы.

Утром я просыпался рано, как только внизу начинали ходить хозяева.

Но сегодня, несмотря на то, что старый деревянный дом гудел и вздрагивал каждым своим бревном и каждой своей потолочиной, я заставил себя лежать до восьми часов: пусть хоть сегодня не будет моей вины перед старым человеком, который, естественно, хочет отдохнуть с дороги.

Но каково же было мое удивление, когда, спустившись с вышки, я увидел в избе только одну Евгению!

— А где же гости? — Про Максима я не спрашивал.

Максим после выходного на целую неделю уходил на свой смолокурный завод, где он работал мастером.

— А гости были да сплыли, — веселой скороговоркой ответила Евгения. — Иван домой уехал — разве не чул, как мотор гремел, а мама, та, известно, за губами ушла.

— За губами! Милентьевна за грибами ушла?

— А чего? — Евгения быстро взглянула на старинные, в травяных узорах часы, висевшие на передней стене рядом с вишневым посудным шкафчиком. — Еще пяти не было, как ушла. Как только начало светать.

— Одна?

— Ушла-то? Как не одна. Что ты! Который год я тут живу? Восьмой, наверно. И не было вот годочка, чтобы она в это время к нам не приехала. Всего наносит. И соленых, и обабков, и ягод. Краса Насте. — Тут Евгения быстро, по-бабьи оглянувшись, перешла на шепот: — Настя и живет-то с Иваном из-за нее. Ей-богу! Сама сказывала весной, когда Ивана в город возила от вина лечить. Горькими тут плакала. «Дня бы, говорит, не мучилась с ним, дьяволом, да мамы жалко». Да, вот такая у нас Милентьевна, — не без гордости сказала Евгения, берясь за кочергу. — Мы-то с Максимом оживаем, когда она приезжает.

И это верно. Я никогда еще не видел Евгению такой легкой и подвижной, ибо по утрам она, шлепая но дому в старых разношенных валенках и в стеганой телогрее, всегда стонала и охала, жаловалась на ломоту в ногах, в поясице — у нее была тяжелая жизнь, как, впрочем, у всех деревенских женщин, юность которых пала на военную страду: только с багром в руках она тринадцать раз прошла всю реку от вершины до устья.

Сейчас я глаз не мог отвести от Евгении. Просто чудо какое-то произошло, будто ее живой водой вспрыснули.

Железная кочерга не ворочалась, плясала в ее руках. Печной жар трепетал на ее смуглом моложавом лице, и черные круглые глаза, такие сухие и строгие, сейчас мягко улыбались.

На меня тоже напал какой-то непонятный задор. Я быстро сполоснул лицо, сунул ноги в калоши и выскочил на улицу.

Туман стоял страшный — я только теперь понял, что на окошках не занавески белели. Реку затопило с берегами. Даже верхушек прибрежных елей на той стороне не было видно.

Я представил себе, как где-то там, за рекой, в этом сыром и холодном тумане, бродит сейчас с коробкой старая Милентьевна, и побежал в сарай колоть дрова. На тот случай, если придется затоплять баню для иззябшей старухи.

Я раза три в то утро выбегал к реке, да столько же раз, наверно, выбегала Евгения, и все-таки мы не укараулили Милентьевну. Явилась она внезапно. В

то время, когда мы с Евгенией завтракали.

Не знаю, то ли оттого, что ворота на крыльце не были заперты, то ли мы с Евгенией слишком заговорились, но только вдруг дверь подалась назад, и я увидел ее — высокую, намокшую, с подоткнутым по-крестьянски подолом, с двумя большими берестяными коробками на руках, полнехонькими грибов. Мы с Евгенией выскочили из-за стола, чтобы принять эти коробки. А сама Милентьевна, не очень твердо ступая, прошла к прилавку у печи и села. Она устала, конечно. Это видно было и по ее худому тонкому лицу, до бледности промытому нынешними обильными туманами, и по ее заметно вздрагивающей голове.

Но в то же время сколько благодного удовлетворения и тихого счастья было в ее голубых, слегка прикрытых глазах. Счастья старого человека, хорошо, всласть потрудившегося и снова и снова доказавшего и себе, и людям, что он еще не зря на этом свете живет. И тут я вспомнил свою покойную мать, у которой, бывало, вот так же дппольно светились и сияли глаза, когда она, до упаду наработавшись в поле или на покосе, поздно вечером возвращалась домой.

Евгения, ахая, причитая: «Вот какая у нас бабка! Мы еще сидим — брюхо набиваем, а она уж наработалась!», — развернула бурную деятельность. Как подобает примерной невестке. Она занесла легкий ушатик из сеней, вымытый, выпаренный, заранее приготовленный для засолки грибов, сбегала в клеть за солью, наломала в огороде свежего пахучего смородинника, а потом, когда Милентьевна, немного передохнув, ушла переодеваться на другую половину, начала сворачивать на середке избы пестрые половики, то есть готовить место для засолки.

— Думаешь, она сейчас исть-пить будет? — заговорила Евгения, как бы объясняя мне, почему она не хлопочет сперва о завтраке для свекрови. — Ни за что! Старорежимный человек. Покамест грибы не приберет, лучше и не заикайся об еде.

Мы сели прямо на голый пол, кучно, нога к ноге. Вокруг нас мельтешили

солнечные зайчики, грибной дух мешался с избытым теплом, и так славно, так приятно было смотреть на старую Милентьевну, переодевшуюся в сухое ситцевое платье, на ее темные, жилистые руки, которые она то и дало погружала то в коробку, то в ушатик, то и эмалированную кастрюлю с солью, — старуха, конечно, солила сама.

Грибы были отборные, крепкие. Желтая молоденькая сыроежка со сладким пеньком, который на севере едят как репу, белый сухой конек, рыжик, волнушка и царь солех — масляный груздь, который особенно хорошо оправдывает свое название в такой вот солнечный день, как нынешний, — так и кажется, что в его блюдце комками плавится топленое масло.

Я неторопливо, с великой осторожностью брал из коробки гриб и каждый раз, прежде чем начать счищать с него соринки, поднимал его к свету.

— Что — не видал такого золота? — спросила меня Евгения. Спросила с подковыркой, явно намекая на мои довольно скромные приношения из леса. Да вот, в том же лесу ходишь, а гриба хорошего для тебя нету. Не удивляйся. У ей с этим заречным ельником с первой брачной ночи дружба. Она из-за этих грибов едва живота не лишилась.

Я непонимающе посмотрел на Евгению: о чем, собственно, речь?

— Как? — страшно удивилась она. — Да разве ты не слышал? Не слышал, как муж в ей из ружья стрелял?

Ну-ко, мама, сказывай, как дело-то было.

— А чего сказывать, — вздохнула Милентьевна. — Мало ли чего меж своих не бывает.

— Меж своих... Да ведь этот свой мало тебя не убил!

— А раз мало, то не в счет.

Черные сухие глаза Евгении неистово округлились.

— Я не знаю, ты, мама... Уж все вкось да поперек. Может, скажешь еще, что ничего и не было? Может, и головная трясушка у тебя не после этого?

Евгения заправила тыльной стороной руки выбившуюся прядку волос за маленькое ухо с красной сережкой-ягодкой и, видимо, решив, что от

свекрови все равно никакого толка не будет, начала рассказывать сама.

— Шестнадцати лет нашу Милентьевну взамуж выпихнули. Может, еще и грудей-то не было. У меня не было в эти годы, ей-богу. А про то, как девка жить будет, про то разве раньше думали? Отец, родимый батюшко, на житье женихово, позарился. Один парень в доме, красоваться будешь. А какая краса, когда дикарь на дикаре вся деревня?

— Да, может, хоть не вся, — возразила Милентьевна.

— Не защищай, не защищай! Кто хошь скажет. Дикари. Да и я помню.

Бывало, к нам в праздник в большую деревню выберутся — орда ордой. Все скопом — женатые, неженатые. С бородами, без бороды. Идут, орут, каждого задирают, воздух портят-па всю деревню пальба. А дома у себя — никто не видит — и того чище. Уж каждый с какой-нибудь придурью да забавой.

Один в сарафане бабьем бегаёт, другой — Мартышко-чирик был — все на лыжах за водой на реку ходил. Летом, в жару, да еще шубу наденет, кверху шерстью. А Исак Петрович, тот опять на архиерее помешался. Бывало, говорят, вечера дождется, лучину в передних избах зажгет, набивник синий на себя наденет — сарафан бабкин — да ходит-ходит из избы в избу, псалмы распевает. Так, мама? Не вру?

— Люди не без греха, — уклончиво ответила Милентьевна.

— Не без греха! Каки таки грехи у тебя в шестнадцать лет были, чтобы из ружья стрелять? Нет уж, такая порода. Весь век в лесу да в стороне от людей — поневоле начнешь лесеть да сходить с ума. И вот в такой-то зверушник да девку в шестнадцать лет и кинули. Хошь выживай, хошь погибай — твое дело. Ну, мама у нас решила перво-наперво свекра да сакровь на свою сторону перетягивать. Им угоду делать. А чем можно было перетянуть стариков в бывалошное время? Работой. И вот новобрачные в первую ночь милуются да любят, а Василиса Милентьевна у нас встала ни свет ни заря да за реку по грибы. Осенью тебя, мама, в это время выдали?

— Кажись, осенью, — не очень охотно ответила Милентьевна.

— Да не кажись, а точно, — убежденно сказала Евгения. — Летом-то много



ли в лесу губ, а ты ведь коробку-то наломала за час-за два. Когда тебе было расхаживать по лесу, когда тебя муж дома ждет? Ну вот, возвращается у нас Милентьевна из лесу. Рада. Ни одного дыма над деревней нету, все еще снят, а она уж с грибами. Вот, думает, похвалят ее. Ну и похвалил. Только она переехала за реку да шаг какой ступила от лодки-бух выстрел в лицо. Грозный муж молодую жену встречает...

У старой Милентьевны, как веревки, натянулись жилы на худой морщинистой шее, сгорбленная спина выпрямилась-она хотела унять дрожь, которая заметно усилилась. Но Евгения ничего этого не видела. Она сама не меньше свекрови переживала события того далекого утра, известные ей по рассказам других, и кровь волнами то прилиwała, то отлиwała от ее смуглого лица.

— Бог, бог отвел смерть от мамы. Далеко ли от огорода до бани? А мама как раз к бане подошла, когда он ружье-то на нее навел, да, видно, рука-то после пьянки разыграла, а то бы наповал. Дробь и теперь в дверке у бани сидит. Не видал? — обратилась ко мне Евгения. — Посмотри, посмотри. Меня муженек сюда первый раз привез, куда, думаешь, перво-наперво повел? Терема свои показывать? Золотой казной хвастаться? нет, к бане черной. «Это, говорит, мой отец мать учил...» Вот какой лешак! Все, все у них тут такие. По каждому кутузка плачет...

Я видел: старая Милентьевна давно уже тяготится этим разговором, ей неприятна наша бесцеремонная назойливость. А с другой стороны — как остановить себя, когда ты уже целиком захвачен этой необычной историей? И я спросил:

— Да из-за чего же весь этот сыр-бор загорелся?

— Пальба-та эта? — Евгения любила все называть своими именами. — Да из-за Ваньки-лысого. Вишь он, лешак, прости господи, неладно бы так своего свекра называть, хватился утром-то... Где вы, мама, спали? На повети? Туда-сюда рукой — нету. На улицу вылетел. А тут и она, молодая жена. Из заречья идет. Вот он и взбеленился. А, думает, так-перетак, к Ваньке-лысому ездила?

На свиданье?

Милентьевна, к этому времени, должно быть, опять овладев собой, спросила не без издевки:

— А ты и про то знаешь, что твой свекор думал?

— Да почто не знать-то. Люди соврать не дадут. Иван-лысой, бывало, напьется: «Ребята, я смолоду в двух деревнях прописан: телом дома, а душой в Пижме». До самой смерти говорил. Красивой мужик был. Ох, да чего рассусоливать. Женихов косяк у мамы был. За красоту и брали. Вишь ведь, она и теперь у нас хоть взамуж выдавай, — польстила свекрови Евгения и, кажется, впервые за все время, что рассказывала, улыбнулась.

Затем, как-то жеманно, с прищуром поведя своим черным безрадостным глазом, заговорила игриво:

— Ну, а тебя, мама, тоже не хвалю. Уж как ни молода была, а должна понимать, для чего взамуж берут. Всяко, думаю, не для того, чтобы по грибы в первую ночь бегать...

Ох, как тут сверкнули тихие голубые глаза у старой Милентьевны! Будто гроза прошла за окошками, будто там каленое ядро разорвалось.

Евгения сразу смешалась, поникла, я тоже не знал, куда девать глаза.

Некоторое время все сидели молча, с особым старанием выбирая сор из грибов.

Милентьевна первой подала голос к примирению. Она сказала:

— Сегодня я уж вспоминала свою жизнь. Хожу по лесу да умом-то все назад дорогу топчу. Семей десяток нынче пошел...

— Седьмой десяток, как вы вышли замуж за Пижму? — уточнил я.

— Да хоть не вышла, а выпихнули, — с легкой усмешкой сказала

Милентьевна. — Верно она говорит: не было у меня молодости. И по-  
нонешнему сказать, не любила я своего мужа...

— Ну вот, — не без злорадного торжества воскликнула Евгения, — призналась! А я рта не раскрой. Все не так, все не ладно.

— Да ведь когда по живому-то месту пилят, и старое дерево скрипит, еще

примирительней сказала Милентьевна. Грибы подходили к концу.

Евгения, поставив на колени пустую коробку, начала выбирать из грибного мусора ягоды — мокрую, переспелую чернику и крупную, в самой поре бруснику. Она все еще дулась, хотя нет-нет да и бросала время от времени любопытные взгляды на свекровь — та опять принялась за прошлое.

— Старые люди любят хвалить бывалошные времена, — говорила Милентьевна негромким, рассудительным голосом, — а я не хвалю. Нынче народ грамотной, за себя постоит, а мы смолоду не знали воли. Меня выдали взамуж — теперь без смеха и сказать нельзя — из-за шубы да из-за шали...

— Неужели? — в страшном волнении воскликнула Евгения. — А я и не слыхала.

От ее недавней сердитости не осталось и следа. Жадное бабье любопытство, столь глубоко укоренившееся в ее натуре, взяло верх над всеми другими чувствами, и она так и впиалась своим пылающим взглядом в свекровь.

— Так, — сказала Милентьевна. — Отец у нас, вишь, строился, хоромы возводил, каждая копейка была дорога, а тут я стала подрастать. Бесчестье, ежели дочь на игрище выйдет без новой, шубы и шали, вот он и не устоял, когда из Пижмы сваты приехали: «Без шубы и шали возьмем...»

— А братья-то где были? — опять, не выдержав, перебила Евгения. Хорошие у мамы были братья. Беда как ей жалели. Как свечу на руках несли. Уж она взамужем была, у самих ребят полные избы, а все сестре помогали...

— А братья, — сказала Милентьевна, — в лесу в ту пору были. Лес на двор рубили.

Евгения живо закивала:

— Ну, тогда ясно, ясно. А я все голову ломаю, как такие братья, первые люди по деревне — из хорошего житья мама брана, — сестру любимую не могли отстоять. А оно вон что — их дома не было, когда тебя сватали...

После этого, уточняя все новые и новые подробности, неизвестные ей, Евгения опять стала забирать разговор в свои руки. И вскоре кончилось все тем, что негромкий голос Милентьевны совсем замолк.

Евгения переживала давнишнюю драму свекрови всем своим существом. — Беда, беда, что могло быть! — размахивала она руками. — Братья услышали: зять сестру застрелил — на конях прискакали. С ружьями. «Только одно словечушко, сестра! Сейчас дух выпустим». Крутые были. Силачи, медведя в дугу согнут, не то что там человека. И вот тогда мама и сказала им: «И не стыдно вам, братья дорогие, шум понапрасну подымать, людей добрых баламутить. Хозяин молодой у нас ружье пробовал, на охоту собирается, а вы невесть что взяли...» Вот какая она у нас умница-разумница была! Это в шестнадцать-то лет! — Евгения с гордостью посмотрела на свою потупившуюся свекровь. — Нет, подними на меня Максим руку, я бы не вытерпела. Засудила бы и засадила куда следует. А она головой потряхивает да братьев своих отчитывает: «Куда суетесь? Есть у вас голова-то на плечах? Поздно мне теперь назад заворачивать, когда голова бабьим повойником покрыта. Надо тут мне приживаться да уживаться». Вот так, такой поворот всему делу дала.

Евгения вдруг всхлипнула. Она ведь, в сущности, была добрая баба. — Ну дак уж свекор ей за это только что ноги не целовал. Что ты, что ты, ведь смертоубийство могло быть.

Братья распалились — чего им стоило решку на Мирона навести. Я-то маленькая была, худо помню Онику Ивановича, а люди старые и сейчас поминают. Откуда ни идет, с какой стороны ни едет, а подарок своей сношеньке завсегда. А ежели загуляет да начнут уговаривать остаться ночевать: «Нет, нет, робята, не останусь. Домой попадать буду. Я по своей Василисе Прекрасной соскучился». Все, как выпьет, Василисой Прекрасной называл.

— Называл, — вздохнула Милентьевна, и мне показалось, что ее старые, выдавшие виды глаза повлажнели.

Евгения, по-видимому, тоже заметила это. Она сказала:

— Есть, есть за что помянуть добрым словом Онику Ивановича. Может, только он одни и человек в деревне был. А тут все как есть урван. — В

Пижме все носят одну фамилию — Урваевы. — И Мирон Оннкович, мой свекорбатюшко, тоже урвай. Да еще урвай-то какой. Другой бы на его месте после такой истории знать как повел себя? Тише воды, ниже травы. А этот такая поперечина — за все взыск.

Милентьевна подняла голову, она, видно, хотела вступить за своего мужа, но Евгения, опять вошедшая в раж, и рта открыть ей не дала.

— Нечего, нечего закрашивать. Всяк знает какой. Кабы хорошей был, разве не выпускал бы тебя десять лет с Пижмы? Нигде не бывала мама — ни у родителей своих, ни на гулянье. Да и кудсю-то, бывало, пряла одна, а не на вечерянке. Вот какая ревность лешья была. Да чего говорить? — Евгения махнула рукой. — За все спрос да взыск. Скажи-ко на милость, виновата ли жена, что все дети обличьем в ей, а не в отца, а у него и за то взыск: «Чей это голубель за столом рассыпан?» Все так допрашивал маму, когда напьется. А чегобы, кажись, допрашивать? Сам темный, небаскящий, как головешка копченая, лицо в шадринах, оспой болел, как, скажи, овцы ископытили... Да радоваться надо, бога вечно молить, что дети не в тебя...

Не знаю, то ли не понравилось Милентьевне, как невестка обращается с ее прошлым, то ли она, как крестьянка старого закала, не привыкла долго сидеть без дела, но она вдруг начала подниматься на ноги, и разговор у нас оборвался.

Дом Максима единственный в Пижме, который развернут фасадом вниз по течению реки, а все остальные стоят к реке озадками.

Евгения не очень жаловавшая пижемцев, объясняла это просто:

— Урвай! Назло людям выставили свои поганые зады.

Но причина такой застройки, конечно, была иная, та, что Пижма расположена на южном берегу реки, и как же было отвернуться от солнца, когда оно и так не часто бывает в этих лесных краях.

Я любил эту тихую деревушку, насквозь пропахшую молодым ячменем, развешанным в пухлых снопах на жердяных пряслах. Мне нравились старинные колодцы с высоко вздернутыми журавлями, нравились

вместительные амбары на столбах с конусообразными подрубами — чтобы гнус не мог подняться с земли. Но особенно меня восхищали пижемские дома — большие бревенчатые дома с деревянными конями на крышах. Впрочем, сам по себе дом с коньком на Севере не редкость. Но я ни разу еще не видел такой деревни, где бы каждый дом был увенчан коньком. А в Пижме — каждый.

Идешь по подоконью узкой травянистой тропинкой, в которую из-за малолюдья превратилась деревенская дорога, и семь деревянных коней смотрят на тебя с поднебесья.

— А раньше их поболее у нас было. В двух десятках деревянное стадо считали, — заметила Милентьевна, шагавшая рядом со мной.

Старуха который раз за эти сутки удивила меня.

Я думал, после завтрака она, старый человек, первым делом подумает об отдыхе, о покое. А она встала из-за стола, перекрестилась, принесла из сеней берестяной пестерь и начала привязывать к нему лямки из старого холстяного полотенца.

— Куда, бабушка? Не опять в лес? — любопытствовал я.

— Нет, не в лес. К дочери старшей, в Русиху лажу сходить, — по-старинному выразилась Милентьевна.

— А пестерь зачем?

— А пестерь затем, что, все ладно, завтра из-за утра в лес уйду. Доярки коров доить поедут и меня прихватят. Мне, вишь, нельзя время-то терять. Я на мало в этот раз отпущена, на неделю.

Евгения, до сих пор не вмешивавшаяся в наш разговор — она собиралась на работу, — тут не выдержала:

— Сказывай — на мало отпущена. Завсегда так. Уж не отдохнет, не посидит без дела. Нет, моя бы воля — весь день лежала. А чего? Неужто человек только затем и рождается, чтобы с утра до вечера чертоломить?

Я вызвался проводить Милентьевну до перевоза — а вдруг перевозчик опять в загуле и старухе потребуется помощь.

Но у Милендьевны нашлись помощники и кроме меня.

Ибо не успели мы поравняться с конюшней, старым полуразвалившимся гумном на краю деревушки в ноле, как оттуда с разбойным свистом и гиканьем вылетел Прохор Урваев. На гремучей немазаной телеге, в которую был запряжен Громобой, единственный живой конь в Пижме.

Когда-то этот Громобой, надо полагать, был рысак что надо, а сейчас от старости он походил на ходячий скелет, обтянутый сопревшей от лишая кожей, и если кто еще и мог заставить этот скелет погреметь старыми костями, так это Прохор — один из трех мужиков, оставшихся в Пижме. Прохор, по обыкновению, был под мухой — от него так и разило дешевым одеколоном.

— Тета, тета! — закричал он, подъезжая. — Я твое добро помню. Я с утра дежурю с Громобоем, потому как знаю — тебе на перевоз. Так, тета? Не ошибся Прохор?

Милендьевна не стала отказываться от услуг племянника, и скоро телега с ней и Прохором покатила по зеленому выкошенному лугу, к желтевшей вдали песчаной косе, где был перевоз.

Я вернулся домой.

Евгении дома уже не было — она ушла на поле помогать бабам убирать горох, и мне бы тоже в самый раз заняться своими делами — у меня и сетка за рекой не смотрена, да и в лес надо — когда еще выдастся такой ладный денек.

А я вошел в пустую избу, постоял неприкаянно под порогом и пошел на поветь.

С поветью меня познакомил Максим в первый же день (я сперва хотел спать на сеновале), и, помню, я просто ахнул, когда увидел то, что там было.

Целый крестьянский музей!

Рогатое мотовило, кроена — домашний ткацкий станок, веретенница, расписные прялки-мезехи (с Мезени), трепала, всевозможные коробья и корзины, плетенные из сосновой драни, из бересты и корня, берестяные

хлебницы, тусса, деревянные некрашеные чашки, с какими раньше ездили в лес и на дальние сенокосы, светильник для лучины, солонки-уточка и еще много-много всякой другой

- [←](#)
- посуды, утвари и орудий труда, сваленных в одну кучу, как ненужный хлам.

— Надо бы выбросить все это барахло, — сказал Максим, словно бы оправдываясь передо мной, — ни к чему теперь. Да как-то рука не поднимается — мои родители кормились от этого...

С тех пор я редкий день не заглядывал на поветь. И не потому, что вся эта отжившая старина была для меня внове, — я сам вышел из этого деревянного и берестяного царства. Внове для меня была красота точеного дерева и бересты. Вот что не замечал я раньше.

Всю жизнь моя мать не выпускала из своих рук березового трепала, того самого трепала, которым обрабатывают лен, но разве я замечал когда-либо, что оно само льняного цвета — такое же нежное, лениво-матовое, с серебристым отливом? А хлебница берестяная. Мне ли бы не запомнить ее золотистого сияния? Ведь она, бывало, каждый раз, как долгожданное солнце, опускалась на наш стол. А я только и запомнил, что да когда в ней было.

И так все, — что бы я ни взял, на что бы ни взглянули старый заржавелый серп с отполированным до блеска цевьем, и мягкая, будто медвяная, чашка, выточенная из крепкого березового свала, — все раскрывало мне особый мир красоты. Красоты, по-русски неброской, даже застенчивой, сделанной топором и ножом.

Но сегодня, после того как я познакомился со старой хозяйкой этого дома, я сделал для себя еще одно открытие.

Сегодня я вдруг понял, что не только топор да нож мастера этой красоты.

Главную-то обточку и шлифовку все эти трепала, серпы, пестери, соха (да,



была тут и Андреевна, допотопной раскорякой стоявшая в темном углу) прошли в поле и на пожне. Крестьянские мозоли обкатывали и полировали их.

• \* \* \*

На следующий день с утра зарядил дождь, и я опять остался дома. Как и вчера, мы с Евгенией долго не садились за стол: вот-вот, думалось, придет Милентьевна.

— Не должна бы она сегодня далеко-то убрести, — говорила Евгения. — Не маленький ребенок.

Но шло время, дождь не переставал, а на том берегу — я не отходил от окошка — все никого не было. В конце концов я накинул на себя плащ и пошел затоплять баню: хорошо из нынешней лесной купели да прямо на горячий полоч.

Бани в Пижме, черные, с каменками, стоят рядком неподалеку от реки, под огородами, которые как бы греются на взгорке.

Весной, в половодье, бани топят, и с верхней стороны против каждой из них врыты бревенчатые быки — для сдерживания и дробления напирających льдин, а кроме того, от этих быков к баням протянуты еще могучие тяжи, свитые из березовых виц, так что бани стоят как бы на приколе.

Я спросил как-то у Максима: к чему все эти премудрости? Не проще ли было поставить бани на взгорке, там, где расположены огороды?

Максим по-урваевски, как бы сказала Евгения, рассмеялся.

— А затем, чтобы веселее жить. Весной, знаешь, бывало, какую пальбу по этим льдинам откроем! Ой-ей-ей! Из всех ружьев.

На следы дробы в старой продымленной дверке я обратил внимание еще в первые дни своего пребывания в Пижме — она сплошь изрешечена, а сейчас, затопив баню и вспомнив вчерашний рассказ Евгении, я попытался даже определить, какие тут дробины от того заряда, который выпустил когда-то по молодой Милентьевне ее муж.

Но из этого, конечно, ничего не вышло. Да, откровенно говоря, мне было и

не до прошлого. Потому что очень уж погано сегодня в лесу было и как там старая Милентьевна? Все ли с ней в порядке?

Евгения тоже беспокоилась о свекрови. Она не могла усидеть дома и пришла ко мне.

— Не знаю, не знаю, что и подумать, — сокрушенно качала она головой. — Это уж она на Богатку уперлась не иначе. Вот какая вот упрямая старушонка! Хоть говори, хоть нет. В ее ли годы под таким дождем лсшачить в лесу.

Прикрыв лицо смуглыми руками, сложенными козырьком, Евгения поглядела на реку и еще более определенно сказала:

— Учесала, учесала — больше некуда деваться. В прошлом году вот так же: ждем-ждем ее, все глаза проглядели, а она на свою Богатку укатила.

Я знал про Богатку — это поскотина в трех-четыре верстах от Пижмы вверх по реке, но я никогда не слышал, что там много грибов и ягод, и спросил об этом Евгению.

Она по привычке, когда дело казалось ей яснее ясного, округлила свои черные глаза:

— С чего! Какие грибы на Богатке? Может, теперь-то и есть — все лесом заросло, а раньше там сплошь пожни были. Один только Оника Иванович, мамин свекор, до ста возов сена ставил. Вот она кажинный год туда и ходит, с ей эта Богатка началась. Она всему делу закоперщица. А до того, как мамы на Пижме не было, и слова такого никто не слышал. Поскотина да поскотина — и все тут.

Евгения кивнула на деревню:

— Лошадей-то деревянных видал на крышах? Сколько их? Во всей Русихе столько нету. А скажи-ко, часто ли ране ворота на взвозе красили? Это уж только богач, какой туз деревенский. А тут ведь, на Пижме, сплошь. Бывало, идешь мимо тем берегом — страшно, когда солнышко на закате. Так вот и кажется, вся Пижма в пожаре. Дак вот, все это у них с Богатки, там клады им открыла Милентьевна.

Я все-таки ничего не понимал: о каких кладах говорит Евгения? Что в ее

словах правда, а что вымысел?

Густой дым, поваливший из сенцев, заставил нас податься в сторону маленького оконца. Там мы сели на скамейку под жердочку с сухими березовыми вениками нынешней вязки.

Евгения, кашляя от дыма, выругала для собственного облегчения мужа — хорошо переклал каменку! — потом заодно уж прошлась по другим жителям деревни:

— Все тут урван! Я вчерась для ради мамы похвалила Опику Ивановича, а по правде сказать, дак и он урвай. Как не урвай. До старости свою старуху заставлял самое хорошее на ночь надевать. У людей как бы в люди или на праздник получше выйти, а у него чтобы на ночь в шелках. Вот какой норов у человека. А о том ли бы мужику серому думать, когда в доме, куда ни повернись, везде дыра да прореха. Мама, мама их всех в люди вывела, — убежденно сказала Евгения. — При ней урваи пошли в рост...

— А как?

— Как в люди-то вывела? А через Богатку. Через расчистки. Север испокон веку стоит на расчистках. Кто сколько ножен расчистил да полей раскопал, у того столько и хлеба, и скота. А Милентий Егорович, отец-то мамин, первый по расчисткам в Русихе был. Четыре сына взрослых — знаешь, какая силушка! А на Пижме у этих урваев все шиворот-навыворот. Первое дело у них охота да рыба. А к земле и прилежанья не было. Сколько деды накопили, расчистили, тем и жили. Своего-то хлеба до нового года не всегда хватало. Правда, когда на зверя в лесу урожай, у них песни. А когда на бору голо, и они как сычи голодные. И вот мама сколько-то так пожила, помаялась, потом видит — так нельзя. За землю надо браться. Ну, а у ей дорожка к сердцу свекра уж протоптана. Еще с той, новобрачной ночи. Она и давай капать: татя, за ум надо браться, татя, давай землей жить... Ладно. Согласился, нет свекор с невесткой, а главное, что не препятствовал. Мама братьев своих кликнула: так и так, братья дорогие, выручайте свою сестру. А те, известно: для своей Васи черта своротить готовы. Участок, какой надо, выбрали, лес

долой — которо вырубили, которо пожгли, да той же осенью посеяли рожь. Вот тут урван и започесывались. Беда, какая рожь вымахала — мало не вровень с елями. Знаешь, по поджогу как родится. Кончилась охота, прощай, рыбка. За топор взялись. Ну и робили! Я-то не помню, мала еще была, а мама у нас все рассказывала, как их на этой самой Богатке за работой видела. Иду, говорит, лесом, корову искала, и вдруг, говорит, огонь, да такой, говорит, большой — прямо до поднебесья. А вокруг этого огня голые мужики скачут. Я, говорит мама, попервости обмерла, шагу не могу ступить: думаю, уж лешаки это, больше некому. А то урван. Расчистку делают. А чтобы не жарко было, рубахи-то с себя сняли, да и жалко лонотину-то — не теперешнее время. А ребятишек-то мучили! У меня Максим иной раз почнет вспоминать — я не верю. Мыслимо ле дело ребенка, как собачонку, на веревочку вязать? А у них вязали. В чашку молока плеснут, на пол поставят, да ползай весь день на веревочке, покуда мама да папа на работе. Боялись, знашь, чтобы ребята пожару дома не наделали. Так, так дичали урваи, — еще раз подчеркнула Евгения. — А чего? Они век не рабатывали, птичек постреливали, — сам знашь, сколько у них силы накопилось. Ох, мама, мама... Хотела как лучше, а принесла беду. Ведь их покулачили, когда зачались колхозы...

Я не охнул и не ахнул при этих словах. Кого в наше время удивишь этой старой-престарой сказкой про щепки, которые летят, когда лес рубят!

Евгении, однако, мое молчание не понравилось. Она приняла его за равнодушие и голосом, полным обиды, сказала:

— Старое время ноне не в почете. Все забыли — и как колхозы делали, и как в войну голодали. Молодежь я не виню, молодежь, та известно: жить хочется, некогда оглядываться назад, да нынче и старухи-то какие-то не те стали. Посмотри, когда они в Русихе за пензией идут, одна другой толще да здоровей. От детей ихних, которые в войну голову сложили, уж и косточек не осталось, а у них на уме, как бы подольше пожить да чтобы войны не было. А уж насчет того, что ихние поля да луга лесом зарастают, и не охнут. Сыты.

Пензия капает каждый день. Я тут как-то бабу Мару спрашиваю: не больно, говорю, глазам-то? Не колет? Ране, говорю, на поля из окошка смотрела, а теперь на кусты. Хохочет: «То и хорошо, девка, дрова ближе». Подумай-ко, что на уме у старого человека? Урвайха, чистая урвайха! У меня Максим такой же: все смешки да хаханьки — хоть потоп кругом.

Евгения помолчала, затем тяжело вздохнула:

— Нет, я какой-то выродок по нынешним временам. У меня все заботы да печаль. Мне все на нервы. А уж из-за своей-то свекровушки я понадрывала сердце. Что ты! Робила-робила, да ты и виновата. Вот какое время у нас было. «Да я-то, говорит мама, ничего, я-то бы стерпела. Да каково, говорит, людей под монастырь подвести».

— Каких людей?

Евгения быстро обернулась ко мне. В ее черных немигающих глазах опять появился накал.

— Пять хозяйств распотрошили. Что ты, у них еще в гражданскую войну по амбару хлеба выгребли, а к колхозам-то они уж и вовсе разъехались. Ну и урвай еще. Все одно к одному. Кабы тихо-мирно, может, и не тронули бы — кто не знает, с чего пошли? А то ведь их в колхоз записывать приехали, а они: не желам. У нас и так колхоз. Вот власти-то и психанули, невзлюбили их. Ну, правда, четырех-то мужиков вернули, и мой свекор, мамин муж Мирон Оникович, вернулся, хоть и больным, а сам-то Оника Иванович так и остался там. Беда, беда, что тогда было! Кой год мама тут рассказывала, я не рада была, что и слушать стала. Заревелась.

Евгения шумно ширнула носом, вытерла платком глаза.

— Ты подумай только, как все иной раз в жизни оборачивается. Мама как раз рожь молотила на гумне, когда гроза-то над ними пала. Да, на гумне, — кивнула она, немного подумав. — Радуется. Вот, думает, опять бог дал хлеба. Хорошая, крупная рожь уродилась, может, за всю жизнь такой не видали. И вдруг девка прибегает: «Мама, бежи скорее домой. Татю да дедушка повозят». И вот, говорит мама, сама знаю, что бежать, надо. Тогда ведь круто

поворачивались, раз-раз и прощай навек, а у меня, говорит, и ноги подкосились. С места не могу двинуться. Дак я, говорит, до ворот на коленцах ползла. Страшно. Из-за ей ведь расплата пришла. Кабы она свекра не подбила на эти самые расчистки, кто бы урваев тронул? Век голь перекатная. Ну, не страхом убил свекор маму — добрым словом. Она-то чего только для себя не ждала, к каким казням не приготовилась — сам знаешь, человек в такую минуту что может натворить, а свекор вдруг, видит, на колени встает. Да при всем честном народе. «Спасибо, говорит, Василиса Милентьевна, за то, что нас, дураков, людьми сделала. И не думай, говорит, худа против тебя на сердце нет. Всю жизнь, до последнего вздоха благословлять буду...»

Евгения заплакала и досказала уже, давясь слезами:

— Так мама и не простилась с Оникой Ивановичем. Замертво упала...

Милентьевна вернулась из лесу в четвертом часу пополудни — ни жива ни мертва. Но с грибами. С тяжелой, поскрипывающей на ходу берестяной коробкой.

Собственно, по скрипу этой коробки я и угадал ее приближение к шалашику на той стороне, под елями, — я все-таки не выдержал и переехал за реку.

Евгения, еще больше моего измученная ожиданием, начала отчитывать свекровь, как неразумного ребенка, едва мы переступили за порог избы.

Ее поддержала баба Мара.

Баба Мара, здоровущая, краснолицая старуха с серыми нахальными глазами, и Прохор — оба на взводе — уже не первый раз сегодня наведывались к нам.

И каждый раз твердили одно и то же: где гостья? Почто прячете от людей?

На Милентьевне не было сухой нитки, она посинела и сморщилась от холода, как старый гриб, и Евгения первым делом стала снимать с нее мокрый платок и мокрую пальтуху, потом достала с печи нагретые валенки, натянула на них красные покрышки.

— Ну-ко, сапоги-то сырые стянем скорее да в баню пойдём.

— А вот в баню-то тебе, тета, как раз и нельзя, — веско сказал Прохор. Он

сидел у малой печки и покуривал в душничок.

— Сиди! — прикрикнула на него Евгения. — Они шары нальют, не знай, чего начнут молоть.

— А чего не знай-то? По медицине.

— По медицине! Это в баню-то нельзя по медицине?

— Ну! У ей, может, воспаление легких. Тогда как?

Евгения заколебалась. Она посмотрела в растерянности на Милентьевну — та, тяжело дыша, с закрытыми глазами сидела на прилавке у печи, — посмотрела на меня — я еще меньше ее понимал в медицине — и в конце концов решила не рисковать.

Короче, Милентьевну вместо бани водворили на печь.

Баба Мара, которая все время, пока шел обмен мнениями насчет бани между Евгенией и Прохором, с усмешкой качала своей крупной головой в красном сатиновом повойнике, тут сказала:

— Ну, рассказывай, где была, чего видела.

— А чего надо, то и видела, — тихо ответила с печи Милентьевна.

— А ты нам скажи чего, — ухмыльнулась баба Мара. — Поди, опять на Богатке была да клады искала?

— Ладно, давай, — миролюбиво заметила Евгения, — чего ни искала, не наше дело. Вишь ведь, едва прибрела, едва дышит.

Баба Мара басовито захохотала, и я с удивлением увидел, что у нее целехоньки все зубы, да такие крепкие, крупные.

— Проха, ты сказывал, пожни колхозникам давать стали, те, которые кустом затянуло, а про расчистки наши ничего не сказывали?

Начался длинный и пустой разговор о расчистках, о целине.

Прохор потребовал от меня, как человека, по его словам, живущего в одном городе с главным начальством нашей жизни, ясного ответа: почему в южных краях заново распахивают целину, а у нас, наоборот, взят курс на ольху да осину? (Он так и выразился.)

Я что-то не очень определенно стал говорить о невыгодности земледелия в

глухих лесных районах, и Прохор, разумеется, сразу же припер меня к стенке.

— Так, так, — воскликнул он не совсем своим голосом, не иначе как подражая какому-то местному оратору, — теперича невыгодно? А в войну, дорогой товарищ? Выгодно было, я вас спрашиваю, в период Великой Отечественной? Одне бабы, понимать, с ребятишками все до последней пяди засевали...

К Прохору немедленно присоединилась баба Мара — ей почему-то всегда доставляло удовольствие задирать меня.

Наконец я догадался, каким доводом сразить своих оппонентов, — бутылкой «столичной».

Правда, домовитой и экономной Евгении не очень по душе пришелся такой способ выпроваживания непрошенных гостей, но когда они, опустошив бутылку, с песней и в обнимку вышли на улицу, и она вздохнула с облегчением.

Свое окончательное отношение к гулякам Евгения выразила, когда стала убирать со стола, — она терпеть не могла всякий беспорядок и разоч.

— Нет, видно, не только поля лесеют, лесеет и человек. Господи, слыхано ли ране, чтобы пьяные урвай в дом к Милентьевне врывались? Да скорее река пойдет вспять. Бывало, мама-то идет, ребятишки возле взрослых шалят:

«Тише вы, бссенята! Василиса Милентьевна идет». А когда пройдет мимо: «Ну, теперь дичайте. Хоть на голове ходите». Так вот ране маму-то почитали.

Есть-то как будешь? — спросила Евгения у свекрови, которая все это время тихонько постанывала на печи. — Спустишься? Але на печь подать?

— Не надо, — чуть слышно ответила Милентьевна. — Потом поем.

— Когда потом-то? С утра ничего не ела. Ну-ко поешь. Хорошая у нас сегодня ушка, с перчиком.

— Нет, сыта я. У меня хлебцы с собой были.

Евгении так и не удалось уговорить свекровь поесть, и она снова засокрушалась:



— Вот беда-то. Что мне с тобой и делать-то? Ты, может, заболела, мама? Может, за фершалицей сходить?

— Нет, все ладно, отойду. Вот отогреюсь и встану. А вы — хорошо бы — губы прибрали.

Евгения только покачала головой:

— Ну, мама, мама! И что ты за человек? Да разве тебе сейчас про губы думать? Лежи ты, бога ради. Выбрось ты из своей головы эту лесовину...

Тем не менее Евгения подняла с полу берестяную коробку с грибами (несторь был пустой), и мы пошли на другую половину. Чтобы дать покой старому человеку.

Грибы на этот раз были незавидные: красная сыроежка, волнуха старая, серый конек, а главное, они не имели никакого вида. Какая-то мокрая мешанина пополам с мусором.

Проницательная Евгения из этого сделала совсем невеселый вывод.

— Вот беда-то, — сказала она. — Ведь Милентьевна-то у нас заболела. Я сроду у ей таких губ не видала.

Она вздохнула многозначительно.

— Да, да. Вот и мама стала сдавать, а я раньше думала — она железная.

Ничего не берет. Ох, да при ейнойто жизни не то дивья, что она спотыкаться стала, а то, как она доселе жива. Муж — чего-то с головой сделалось, три раза стрелялся — каково пережить? Мужа схоронили — хлоп война. Два сына убито намертво, третий, мой мужик, сколько лет без вести пропадал, а потом и Санюшка петлю на мать накинула... Вот ведь сколько у ей переживаний-то под старость, на десятерых разложить много. А тут на одни плечи.

— Санюшка-дочь?

— Дочь. Разве не слыхал? — Евгения отложила в сторону кухонный нож, которым чистила грибы. — У мамы всего до двенадцати обручей слетало, а в живых-то осталось шестеро. Марфа, старшая дочь, та, которая в Русиху выдана была, под ней шли Василий с Егором — оба на войне сгнули, потом

мой мужик, потом Саня, а потом уж этот пьянчуга Иван. Ну вот, сыновей Милентьевна на войну спроводила, а через год и до Сани очередь дошла. На запань, лес катать выписали. Тоже как на войну... Ох и красавица же была! Я кабыть и в жизни такой не видела. Высокая, белая-белая, коса во всю спину, до колена будет — вся, говорят, в мать, а может, еще и покрасивше была. И тихая, воды не замутит. Не то что мы, сквалыжины. И вот через эту-то тихость она и порешилась. Налетела на какого-то подлеца — обрюхатил. Я не дивлюсь, нисколешеньки не дивлюсь, что так все вышло. Это кто всю жизнь под боком у родителей прожил да нигде не бывал, пушай ахает, а я с тринадцати лет в лес пошла — всего насмотрелась. Бывало, из лесу-то вечером в барак придешь — еле ноги держат. А они, дьяволы, не уробились, карандашиком весь день ворочали, так и зыркают на тебя. Ни разуться, ни переодеться — живо в угол затащут... И вот, может, и Сане маминой такой дьявол на дороге встал. Чего с ним сделаешь? Кабы у ей зубы были, она бы шуганула его куда следно быть, а то ведь ей и не сказать. Я помню, в праздник к нам перед войной, в Русиху, пришла — залилась краской: бабы глаз не спускают — как, скажи, ангелочек какой стоит, и парни ошалели — навалом лезут. А тут, может, еще мать, когда в дорогу собирала, острастку дала: чего хошь теряй на чужой стороне, доченька, только честь девичью домой приноси. Так, бывало, в хороших-то семьях наказывали. Не знаю, не знаю, как все вышло. Маму про это лучше не спрашивай — хуже врага всякого будешь.

Евгения прислушалась, заговорила разгоряченным шепотом:

— Хотела скрыть от людей-то. Никого, говорят, близко к мертвой дочери не подпустила. Сама из петли вынула, сама обмыла и сама в гроб положила. А разве скроешь брюхо от людей? Те же девки, которые с ней на запани были, и сказывали. Санька, говорят, на глазах пухнуть стала, да и Ефимка-перевозчик заметил. «Ты, говорит, Санька, вроде как не такая». А с чего же Санька будет такая, когда на страшный суд идет. Ну-ко, глянь, дочи, в глаза родной матери, расскажи, как честь на чужой стороне блюла. И вот она,

горюша горькая, подошла к родному дому, а дальше крыльца и ступить не посмела. Села на порожек, да так всю ночь и просидела. Ну, а светать-то стало, она и побежала за гумно. Не могла белому дню в глаза посмотреть, не то что матери.

Евгения, опять прислушиваясь, настороженно приподняла черные дуги бровей.

— Спит, верно. Может, еще и отлежится. Я спрашивала у мамы, — заговорила она на всякий случай опять шепотом, — неужели, говорю, уж сердце материнское ничего не подсказало? «Подсказало, говорит. Я в ту ночь, говорит, три раза в сени выходила да спрашивала, кто на крыльце. А светать-то стало, меня, говорит, так и ткнуло в сердце. Как ножом». Это она мне сказывала, не скрывала. И про то говорила, как сапоги на крыльце увидела. Подумай-ко, какая девка была. Сама помираю, жизнь молодую гублю, а про мать помню. Сам знашь, как с обуткой в войну было. Мы, бывалоче, на сплаве босиком бродим, а по реке-то лед несет. И вот Санюшка с жизнью прощается, а про мать не забывает, о матери последняя забота. Босиком на казнь идет. Так мама по ейным следочкам и прибежала на гумно. Не рано уж было, на другой день покрова — каждый пальчик на снегу видно. Прибежала — а что, чем поможешь? Она уж, Санюшка-та, холодная, на пояску домотканом висит, а в сторонке ватничек честь по чести сложен и платок теплый на нем: носи, родная, на здоровье, вспоминай меня, горемычную...

Дождь на улице не прекращался. Старинные зарадужелые стекла в рамах всхлипывали как живые, и мне все казалось, что там, за окошками, кто-то тихонько плачет и скребется.

Евгения, словно читая мои мысли, сказала:

— Я страсть боюсь жить в этом доме. Мне уж не ночевать одной. Я не мама. Зимой как завоет-завоет во всех печах да трубах, да кольцо на крыльце забрякает — хоть с ума сходи. Я попервости все Максима уговаривала: давай жить дома. Чего мы не видали на чужой стороне? А теперь, пожалуй, и я

нажилась. Зимой от нас и дороги к людям нету. На лыжах в Русиху ходим... Милентьевна два дня лежала лежкой, и мы с Евгенией стали всерьез подумывать о вызове фельдшерицы. А кроме того, мы решили, что о ее болезни нужно известить ее детей.

Однако, к нашему счастью, ничего этого не потребовалось, на третий день Милентьевна сама слезла с печи.

И не только слезла, но и без нашей помощи добралась до стола.

— Ну как, бабушка? Поправилась?

— А не знаю. Может, совсем-то и не поправилась, да мне сегодня домой попадать надо.

— Домой? Сегодня?

— Сегодня, — спокойно ответила Милентьевна. — Сын Иван должен сегодня за мной приехать.

Евгения этим сообщением была огорошена не меньше, чем я.

— Да зачем Иван-то поедет по такому дождю? Посмотри-ко, на улице-то что делается? У тебя, мама, мозга на мозгу наехала, что ли?.. Ты ведь и грибов еще не наносила.

— Грибы подождут, а завтра школьный день — Катерина в школу пойдет.

— И это ты ради Катерины собираешься ехать?

— Надо. Я слово дала.

— Кому, кому слово дала? — Евгения аж поперхнулась от изумления. — Ну, мама, ты и скажешь. Она Катерине слово дала! Да вся-то Катерина твоя еще с рукавицу. Сопля раскосая. Была тут весной. В угол заберется — не докличешься.

— А какая ни есть, да надо ехать, раз слово дадено. — Милентьевна повернулась в мою сторону: — Нервенная у меня внучка, и с глазками девке не повезло: косит. А тут еще соседка девку вздумала пугать: «Куда, говорит, бабушку-то из дому отпускаешь? Не видишь разве, какая она старая? Еще умрет по дороге». Дак уж она, моя бедная, заплакалась. Всю ночь не выпускала из своих рук бабушкину шею...

Весь день Милентьевна высидела у окошка, с минуты на минуту поджидая сына. В сапогах, в теплом шерстяном платке, с узелком под рукой, — чтобы никакой задержки не было из-за нее. Но Иван не приехал.

И вот под вечер, когда старинные часы пробили пять, Милентьевна вдруг объявила нам, что раз сын не приехал, она будет добираться сама.

Мы с Евгенией в ужасе переглянулись: на улице дождь — стекла в рамах вспухли от водяных пузырей, сама она насквозь больная, попутные машины по большаку за рекой ходят от случая к случаю... Да это ведь самоубийство, верная смерть — вот что такое ее затея.

Евгения отговаривала свекровь как могла. Стращала, плакала, молила. Я тоже, конечно, не молчал.

Ничто не помогло. Милентьевна была непреклонна.

Она не кричала, не спорила с нами, а молча, потряхивая головой, накинула на себя пальтуху, увязала еще раз узелок со своими пожитками, прощальным взглядом обвела родную избу...

И тут, в эти минуты, я впервые, кажется, понял, чем покорила молодая Милентьевна пижемский зверюшник.

Нет, не только своей кротостью и великим терпением, но и своей твердостью, своим кремневым характером.

Я один провожал больную старуху за реку. Евгения до того распсиховалась, что не могла даже спуститься на крыльцо.

Дождь не переставал. Река за эти дни заметно прибывла, и нас снесло метров на двести ниже бревна, к которому обычно примыкают лодку.

Но самое-то трудное нас ждало в лесу, когда мы вышли на лесную тропку.

По ней, по этой тропке, и в сухое-то время хлюпает да чавкает под ногой, а представляете, что делалось тут сейчас, после трех дней сплошных дождей?

И вот я брел впереди, месил ходуном ходившую болотиину, хватался за мокрые кусты и каждую секунду ждал: вот сейчас это произойдет, вот сейчас хлопнется старуха...

Но, слава богу, все обошлось благополучно. Милентьевна, опираясь на

своего верного помощника — легкий осиновый батожок, вышла на дорогу. И мало того, что вышла. Села на машину.

С этой машиной нам, конечно, повезло неслыханно.

Просто чудо какое-то случилось. Ибо только мы стали подходить к дороге, как там вдруг заурчал мотор.

Я остервенело, с яростным криком, как в атаку, бросился вперед. Машина остановилась.

К сожалению, места в кабине рядом с шофером не было: там сидела его бледная жена с новорожденным на руках. Но Милентьевна ни одной секунды не раздумывала, ехать или не ехать в открытом кузове.

Кузов был огромный, с высокими коваными бортами, и она нырнула в него как в колодец. Но под темными сводами ельника, плотно обступившего дорогу, я еще долго видел качающееся белое пятно.

Это Милентьевна, мотаясь вместе с грузовиком на ухабах и рытвинах, прощально махала мне СВОИМ платком.

\* \* \*

- После отъезда Милентьевны я не прожил в Пижме и трех дней, потому что все мне вдруг опостылело, все представилось какой-то игрой, а не настоящей жизнью: и мои охотничьи шатания по лесу, и рыбалка, и даже мои волхования над крестьянской стариной.

Меня неудержимо потянуло в большой и шумный мир, мне захотелось работать, делать людям добро. Делать так, как делает его и будет делать до своего последнего часа Василиса Милентьевна, эта безвестная, но великая в своих деяниях старая крестьянка из северной лесной глухомани.

Я уходил из Пижмы в теплый солнечный день. От подсыхающих бревенчатых построек шел пар. И пар шел от старого Громобоя, одеревенело застывшего возле телеги у конюшни.

Я позвал его, когда проходил мимо.

Громобой вытянул старую шею в мою сторону, но голоса не подал.

И так же безмолвно, понуро свесив головы с тесовых крыш, провожали меня

деревянные кони. Целый косяк деревянных копей, когда-то вскормленных  
Василисой Милентьевной.

И мне до слез, до сердечной боли захотелось вдруг услышать их ржанье. Хоть  
раз, хоть во сне, если не наяву.

То молодое, залиvistое ржанье, каким они оглашали здешние лесные  
окрестности в былые дни.

*1969*